

## История и Ничто

Н.Н.Мурзин

Но одно – мысль, другое – дело,  
третье – образ дела. Между ними не  
вращается колесо причинности.

«Так говорил Заратустра»

Разочарование владеет нами. То, во что мы еще вчера верили – или нам казалось, что верили, – то, что еще вчера представлялось нам столь незабываемым, простым, понятным до самоочевидности, теряет, если не потеряло уже, в наших глазах всю свою былую привлекательность. Мы очаровываемся быстро, а разочаровываемся еще быстрее. Еще вчера наши движения были столь нескованны, цели – столь близки, возможности – столь несомненны, что разочарование оказалось вдвое тяжелее, чем неудача, которую мы потерпели. Неудача – и под этим прежде всего подразумевается провал наших социальных, экономических и политических начинаний; глупо было бы сегодня это отрицать. Но неудача эта выходит за пределы экономической и социальной политики, не охватываясь ими, а корни сегодняшнего разочарования уходят глубже, чем мы думаем, – когда вообще даем себе труд задуматься над тяжестью нашего положения, а не хватаемся за очередное наспех изготовленное объяснение собственных бед.

Казалось бы, разочарование – частый гость и в стабильной, обеспеченной жизни; но она все же не ведает этой пугающей сосредоточенности на злобе дня, желания судить, а не знать, поразительной слепоты к реальному положению дел, высокомерно-заискивающего тона, неоправданной заносчивости и труднообъяснимой враждебности, ненависти и озлобленного безразличия; пожалуй, нигде больше не ощущаешь столь остро протянувшегося через всю историю разобщения.

Как до этого дошло? Разумеется, эта сила, этот дух тяжести, действовала в истории всегда; но почему сегодня мы свидетельствуем о ее возвращении, вновь наблюдаем ее победное шествие и видим, с какой легкостью она расправляется с последними остатками надежды, двигавшей нами еще вчера, – может быть, *ложной* надежды... Признать это требует от нас наше разочарование. Мы не добились того, чего хотели; наши ожидания не оправдались – все оказалось не таким, не тем; наша вера не осуществилась и мы более не хотим того, во что недавно еще верили, – но не хотим и чего-то другого.

И все же – нет ли здесь чего-то еще, какого-то неявного, неясного опасения лишиться – нет, не иллюзии, а самой возможности в тот или иной произвольный момент скрыться в той или иной иллюзии, в самом иллюзорном настроении как таковом – функции *забвения*. Быть может, наше разочарование предшествовало всякому нашему действию и было до всех неудач, – только тогда оно называлось *недоверием*, глубочайшим, скрытым от самого себя *упорством* в предчувствии того неизбежного момента, когда забвением придется поступиться – и, тем самым, доставить себе немало неприятных открытий, расстройств и боли, – и еще более потаенным и роковым знанием того, что этот выбор неприемлем и потому не будет сделан? Что же удержало нас, воспрепятствовав решимости, не давая отказаться от забвения?

Прошлое – вот ответ; все то время, что знало наше существование, пока забвение делало выносимой реальность, в которой требование свободы – первейшее и естественнейшее требование разума, являющее сам этот разум самому себе, – столкнулось с ее фактическим отсутствием, а непроницаемость ее содержания – с хаотическими стремлениями самого человеческого существа.

Итак, в поисках ответа мы обращаемся к прошлому – и признаем, что наша проблема была *всегда*, что это собственно *историческая* проблема. Истинность ее в узком смысле слова нас не волнует; в нашем случае вопрос, насколько занятая нами позиция исторически истинна, то есть, фактически и непротиворечиво явлена, лишь уводит от сути дела. Не было такого момента, когда у нас не было прошлого – точнее, когда перед нами не стоял бы этот выбор, в чистой ли возможности или уже обремененный историей. История – это только способ, каким эти изначально сущие силы человеческого бытия являют себя, и вместе с тем – повод к познанию их самих по себе. И в этом смысле идея «неготовности к свободе», которой мы так часто – неумело, но с охотой – прикрываемся, когда разговор все-таки доходит до сути дела, – ни в коей мере не оправдание; в том смысле, в каком историю рассматриваем мы, к свободе вообще нельзя быть готовым, – и, тем не менее, это единственная необходимость, на которую можно и нужно указать. Быть готовым к свободе – значит, иметь о ней ясное представление, то есть, знать, что она собой представляет, – то есть, *понимать* ее. Таким образом, ясное представление предполагается пониманием и необходимо отливается в понятие как форму этого понимания; понимание же само понимается прежде всего из *непротиворечивости*, поэтому понятие всегда включает в себя иное как свой момент. Иначе противоречие разрывает нашу мысль, парализует наше действие – мы *разочаровываемся*. Разочарование всегда так или иначе проистекает из непонимания.

Чего же мы не поняли? И почему? *Что и почему* нам необходимо понять, чтобы мы могли двигаться дальше?

Противоположность истины – скорее заблуждение, чем ложь; последняя есть не что иное, как *сила*, прибегая к которой, заблуждающаяся мысль упорствует и неясным даже для самой себя образом пребывает в наличии. То, что такое возможно – более чем возможно – такова наша истина и урок, который мы должны выучить. Что возможность ошибки, заблуждения необходимо заключается в самом строе истины – это мы знали; но в свете истины она делалась чем-то незначительным, бесконечно малым, исчезающим и ускользающим моментом. Почему так, а не иначе – даже это оставалось скрытым от нас, хоть и было все время на виду, так, что превратилось в конце концов в простое обстоятельство, принятое к сведению. Куда более глубокое и опасное соображение, что заблуждение неразрывно связано с самой сутью бытия, которое высказывал, например, *Августин* – и то было истолковано поверхностно: слишком уж исторически, слишком уж само собой напрашивающимся образом – как очередная онтология человеческой конечности, свойственное христианству меряние человеческого божественным, которое, впрочем, само делалось понятным исключительно из отрицания и как отрицание первого; Бога не видел никто никогда, конечность же человеческого разума и ограниченность человеческого познания, – концепты, сложившиеся в самых что ни на есть теологических обстоятельствах, – все еще в ходу: ими продолжают пользоваться, игнорируя их происхождение и наследственность, которые не остаются в долгу и как раз обесценивают все попытки их узко

рационального, то есть, сугубо эпистемологического применения. Этот аргумент, к которому прибегали философы вплоть до Канта – «я заблуждаюсь, потому что я – человек» – следовало бы переформулировать: «я заблуждаюсь и потому делаюсь человеком»; иначе говоря, не заблуждение возможно, поскольку есть нечто такое, как человек, но нечто такое, как человек, возможно, поскольку есть заблуждение. Но что это за заблуждение? да и – «человек»? только вольное истолкование и переложение безразличного «есть» – «нечто *есть*»... Не в этом ли безразличном «есть», не в этом ли пустом и безответном существе *теряется* – «человек», когда им овладевает забвение? Но оно владеет им *всегда*.

И все же – это «есть» не так уж и безответно; и вовсе даже не безответно.

Как следует его вопрошать?

Из забвения; из глубины забвения. Потому что забвение несет на себе его образ – и всякий раз отворачиваясь от будущего, мы начинаем стремиться в его недостижимую, вечно ускользающую глубину. Надо всей кажущейся неохватностью наших чувств, мыслей, желаний встает этот образ – он один. Но это менее всего – некая картина, видение; скорее уж призрачным видением предстанут все царства духа. И однако, пребывать в заблуждении означает все еще пребывать в духе, но в духе, не ведающем тьмы, которая уже владеет им; власть же эта изначальна – и мы не знаем времени, когда дело обстоит бы как-то иначе. Эта слепота духа, его роковая самонадеянность удостаивается порой чудесного – то есть, случайного – спасения и доживает до золотой поры исполнения надежд, но мы не ставим ей это в заслугу и уж тем более не радуемся за нее – слепота не исцелилась, а самонадеянность только окрепла, уверившись в себе – и далее будет с еще большей силой настаивать на собственном наивном существовании и избегать познания; опять же, неумение этого наивного существования толком распорядиться теми самыми плодами надежды, его неготовность принять их лишь доказывают, что не его заботой создано его нынешнее счастье и что оно его не достойно.

Это *второе* разочарование зачастую горше первого; избегнув одной тьмы, мы обрушиваемся в другую, чтобы понять – избавление было ложным; мы пойманы в замкнутый круг и блуждаем от разочарования к разочарованию. Если же наивное сознание настолько поверхностно, что не чувствует двусмысленности ситуации и не ощущает неловкости в обращении с ускользнувшей от него реальностью, его час все равно пробьет – и вряд ли его мольбы о пощаде будут тогда услышаны.

Урок истории таков, что разочарование неизбежно; мы всегда начинаем – и начинаемся – с заблуждения; и этому заблуждению – рано или поздно, так или иначе – будет положен конец: разочарование настигнет нас – как *несоответствие* или как *отчуждение*. Наша задача – не предотвратить его, а быть по возможности готовым к встрече с ним и понять, от лица какой истины оно говорит к нам. Возвращение в исходную точку – в сам момент заблуждения – с тем, чтобы понять, почему, *пребывая в духе, мы заблуждаемся* – таково наше движение, но в нем заключены и тайна нашего обращения, и смысл нашей надежды: *заблуждаясь, мы пребываем в духе*, становимся в нем – таков наш путь и другого, судя по всему, нам не дано.

Осознать *силу* негативного, понять негативное как *силу* – такова наша цель; иначе урок истории не будет выучен и, разочарованные, мы канем в забвение – без надежды. Наша сегодняшняя история свидетельствует со всей очевидностью о следующем: дело не в том, что мы не мыслили – и не в том, что

мыслили неправильно, то есть, заблуждались – а в том, что иначе, то есть, не *заблуждаясь*, мыслить невозможно; по крайней мере, нельзя *начать* мыслить, поскольку начало пребывания в духе всегда есть заблуждение. Почему это так, мы поймем, если ухватим существеннейшее в заблуждении – то есть, негативность, – и проникнем в само средоточие проблематики негативного, имя которому – *сила*. Негативное может – и должно – быть уяснено в понятии; но будь оно только понятием, в точке абсолютного знания оно совпало бы с собственным несуществованием, о чем знал еще Парменид, – а в ином случае оставалось бы лишь теоретически допустимым моментом. Мы знаем другое: истории не было, если мы не осмыслили ее в понятии негативного; истории нет, если нам недоступен пафос негативного; истории не будет, если мы недооценим силу негативного.

Недоверие к истории, к силе свершения, – так я определяю скрытую болезнь нашего времени; неверие в будущее и даже ненависть к нему, нежелание, чтобы оно наступило. Зеркало настоящего всегда искажает. Чем для нас является настоящее? «Настоящее» – это наличное время, данный его момент; но это также означает и «на самом деле», «подлинное», то есть, соответствующее тому, чем оно представляется, – иначе говоря, это тождество мышления и бытия. Поэтому настоящее – пока что в понятии, то есть, взятое относительно мышления и формально, а не само по себе, то есть, взятое относительно сознания и содержательно, – это всегда необходимый, но еще и очень опасный момент, когда дух обращается на себя – и видит себя искаженным. Эта искаженность мыслилась как следствие – эффект – изначального отчуждения духа от самого себя – отчуждения, без которого игра в историю потеряла бы всякий интерес, если вообще состоялась бы; понадобился *Ницше*, чтобы сделалось ясно, что все обстоит ровным счетом наоборот – историческое отчуждение как феномен отражает метафизическое (ноумен), но не зеркальным, то есть, *обратным*, а *прямым* образом, то есть, выражает его *непосредственно*, а не *опосредованно* – как *следствие* искажения; и на смену заблуждению, ослеплению и неузнаванию, хорошо известным нам, и по сути – театральным, приемам философской драматургии, приходит *разочарование*. Дух не бежит – он возвращается, чтобы мстить, и его ненависть идет впереди него. Он бьется с самым настоящим врагом – но поражает в итоге всегда самого себя; и однако, заблуждением было бы полагать, что его противник – он сам, и с самого начала он метил – в себя. Думать так означало бы поддаться тому болезненно-соблазнительному восприятию, от которого предостерегал Ницше – дурно понятому гегельянству, игре в историю, которая превращается в театр одного актера, в монолог безумца, говорящего на разные голоса и преследуемого химерами самозабвения. Как раз в понятии, а не в сущности, отчуждение происходит – и делается реальностью. Это – второй плод познания и он всегда горек; вслед за «да» дух говорит «нет» – но его оружие бьет мимо цели.

Против чего же восстает дух с такой силой, в обезобразившем его исступлении? С кем сражается он и что это за сражение, из которого он почти никогда не выходит победителем, но всегда остается прав – в причинах своих действий, но не в них самих, – что и в необратимости своего поражения и падения, оставив нам в наследство ненависть, чтобы с нею мы вершили суд над мерзостью и пустотой его дел, обрывает на середине нашу гневную речь в обессиливающем осознании того, что его дела – это и наши дела тоже, и заставляет нас испытать до дна всю горечь этой беззаконной правоты? Что это за новая во всех смыслах трагедия, герой которой неправ полностью – но точно

так же и прав, причем полнота его неправоты будет мерой его *человечности*, а полнота правоты – мерой его *божественности*? Не перед этим ли совершенным Богом – и вместе с тем презреннейшим недо-животным, самой жалкой и отвратительной тварью на земле, – застывал в восхищении и ужасе Ницше? Возможно, от этого брако-сочетания рождается самое опасное и самое соблазнительное из всех метафизических заблуждений, что, возможно, для того и предначертан человеку путь падения, чтобы над поглотившей его пропастью тем светлее и величественнее блистала его истина – всегда неосуществленная, навеки недостижимая?

Какой урок преподает история *философу*? Одно несомненно – это всегда *жестокый* урок. Когда-то верили в человека, в его силы и способности; мы уже не верим в человека. Дело не в том, что такая вера сегодня неоправданная роскошь. И вообще – какой смысл говорить о «сегодня», «вчера», «завтра»? Существует только «всегда»; она *всегда* возможна – и *всегда* невозможна. Мы смотрим в вечность «Да» из вечности «Нет» и хотя наши глаза остаются сухими, движения – сдержанными, а тон – спокойным, где-то глубоко внутри нас рождается крик и если бы мы могли, то кричали бы без остановки, пока не разорвутся легкие и сердце. Но этот крик *никогда* не нарушит тишины; есть места, где солнце никогда не восходит и ночь никогда не кончается, – и тем, что они суть то, что они суть, они ввергнуты в бесконечное, никем и ничем не нарушаемое безмолвие.

Мы на изнанке времени и только злость сообщает нам подобие жизни и делает нашу речь хотя бы отчасти связной. Нам нужно очень много злости – мы должны *производить* ее, чтобы не лишиться того немного, что делает нас жизнеупорными, сопротивляющимися разочарованию и безразличию. Кто на себе испытал эту омерзительную расслабленность, эту доводящую до бешенства неспособность *жить* духом, сделать *дух* жизнью, наполнив ее неопишущую пустоту и вырвав счастье из-под власти случая; *ненужность* чувства и мысли, которые так и остаются редкими гостями, сплошь несущественным «если бы» и «возможно», съезжившись до комических карликов под тяжелым взглядом одиночества, – тот знает, что свобода – непосильная ноша и каждый день приходится начинать все сначала, а тяжесть лишь прибывает.

Мы, дети темной стороны истории, знаем и «Да», и «Нет». Мы, живущие в пустыне, вместе с хламом и бесполезными побрякушками, оставшимися нам от духа, уже почти ни во что не верим; это «почти» – последний волосок, который удерживает нас от полного падения и окончательного забвения. Но вот из «Да» «Нет» едва видно – это не бездна, разверзшаяся под ногами, но крошечная, с булавочный укол черная точка на пределе видимости. Трудно вообразить, что в ней можно заблудиться и пропасть – пропасть навсегда. И в ней пропадают – поодиночке, поколениями, народами.

Будем ли мы *сильными*? Взглянем ли в лицо этой правде и перестанем ли тешить себя сказками наивного сознания о «неизбежности прогресса», «преодолении противоречий», «отдельных неудачах»? Нет менее неизбежной и необратимой вещи, чем прогресс, – те, кто знают, как быстро и как легко обращается он в свою противоположность, стоит лишь немного ослабить напряжение поддерживающих его сил, давно убедились в этом. Противоречие – единственная *неизбежность*, на которую мы можем рассчитывать; неудача – единственный *закон* существования. И это нам тоже придется принять.

Будем ли мы *правыми*? Поддадимся ли разочарованию, присоединимся ли к силам разрушения, делая за них их работу и лишая свою жизнь последних крупиц смысла? Несмотря ни на что, мы продолжаем верить в заклинательную силу максим и руководствоваться ценностями, которые невозможно адекватно объяснить из нашего ограниченного горизонта, мы окружаем лицемерным почтением призраки истины, хотя давно уже всеми своими помыслами и делами споспешествуем одной лишь лжи; мы все еще слышим голос, обращенный к нам, и боимся правды, таящейся в бездумно заученных нами словах, и красоты вещей, угрожающей открыться даже брошенному искоса опасливому взгляду; и пускай мы изолгали все, чему нам ненавистно следовать и в истинности чего невыносимо признаться, оно все еще здесь, затерянное в нагромождениях лжи, окруженное насмешками или безмолвием, и мы можем расчистить к нему путь.

Вдохновленные истиной, мы находим повсюду дух – но вместе с тем и *иное*, неотличимое – и все же отличное. Неотступной тенью следует оно за духом. В него и его реальность должны мы поверить, чтобы войти в настоящее духа и понять то, что говорит нам история.

Мы должны постичь негативное – вот наша задача. Но с чего тут следует начинать? И какого рода опыт в состоянии нам в этом помочь? Мышлению объективному, т. е., пребывающему в духе, растворяющемуся в нем практически без остатка, негативное предстает *ничем*, воплощенным парадоксом или абсурдом – наваждением, бесследно рассеивающимся в свете истины; примером тому служит нам *Парменид*. Мышлению же субъективному, т. е., духу, изведавшему одиночество чистого сознания, равно отдаленного от всякой предметности, негативное предстает наряду и вместе со всем, чему противостоит, и рассматривается в ложном единстве с объективным духом как одно из его понятий.

Наивное сознание, как исторически опосредованная форма объективного мышления, неспособно составить опыт негативного, поскольку выражает нечто прямо противоположное, а именно – чистую негативность идеального, трансцендентальность опыта как такового. То, что дух есть совокупность своих понятий и в то же время каждое из них в отдельности, – негативное в первом приближении, неразличимость, в которой оно изначально пребывает. Но это всегда уже некая *определенность*, нечто *реальное: начало* истории. Наивное сознание, впрочем, отличается от сознания *обыденного*, которое выказывает куда большую пронизательность в отношении негативного, нежели наивное сознание, пребывающее бестревожно в идеальном, а точнее, сознающее исключительно в форме самосознающей идеальности; обыденное же сознание определяется субъективно и связано с внутренним, а не с внешним чувством. Но оно, обладая имманентным историческим чутьем – пониманием или умением распознавать негативное, лишено той слабости наивного сознания, которая порой делается его величайшей силой и несравненным достоинством, – оно неспособно отвращаться от негативного как от чего-то чужеродного и незаконного, ощущать во всей полноте его вызывающую неправильность, поскольку оно мыслит из субъективности, т. е., крайне опосредованно, и сама форма его складывается под действием сил негативного, хотя и иным образом, чем форма наивного сознания. Негативное для него – такая же объективная реальность, как и дух, формой отрицания которого, и ничем иным, негативное, собственно, и является; оно не критично, т. е., не склонно к проблематизации их формального единства как собственного конститутивного момента, разделяя их по характеру, но не по происхождению. Поэтому для обыденного сознания

всегда существует опасность отнести к ним как к модальностям или функциям одного и того же, различиям в видении, но не в предмете, абстрагированная нейтральная бытийственность которого, в свою очередь, приведет к их неизбежной релятивизации.

Наивное сознание, как мы уже указали, в отличие от обыденного способно отвернуться от негативного, не на уровне суждения, т. е., ценностно или объективированно, а интуитивно, хотя бы оно и оставалось бесконечно долго слепо к его работе; но этот отталкивающий эффект целиком негативен и содействует только отчуждению духа от самого себя, поскольку в последнем случае негативное выступает как Ничто, собственная чистая отрицательность, отклоняющее и разрушающее «Нет», бестелесное и неуязвимое. Его задача – разрушить первоначальное единство духа, данное в форме наивного сознания, отправить его в ссылку исторического, заставить скитаться в пустыне субъективности без надежды на обретение утраченного. И утрата тем горше, чем яснее ты понимаешь, что она заберет *все* и не оставит *ничего*, никакой ностальгической интроспекции как проверенного средства утешения экзистенциальной боли, поскольку даже в самой удаленной, реальной или воображаемой, точке прошлого, даже в памяти – прежде всего в памяти – духу не дано укрыться от помрачения и утраты; потому удел наивного сознания – *разочарование*. Негативное всегда уже за работой. Но понятое только как принцип отрицания, осуществляющий деструкцию всякого объективного содержания и утверждающий оппозицию пустой формы (редуцированной к чистой длительности бессодержательной субъективности) и неопределенного содержания (субстанциально недифференцируемых диспозиций), негативное – все еще только теоретическое допущение. То, что делает его роком – его способность делаться реальным, очень даже реальным; его способность упорствовать и быть. Это открыл нам *Ницше*: *ressentiment*.

Реальность – это боль; испытывая боль, испытывая страдание, мы осознаем, что утратили единство с сущим и счастье непосредственности нам более недоступно; боль возвращает нас в границы нашего одинокого, но такого неотступного существования, заставляя терзаться недостижимым и невозможным, и ненавидеть его оттого, что оно – только сон, и вот мы пробудились от него и обводим безрадостным взглядом ту единственную реальность, которая только есть.

Но боль – еще не опыт; она не проясняет, а только запутывает, озлобляя, принуждая сущее замкнуться в себе, в своем стеснении и униженности. Однако опыт делается подлинным, только если он идет от боли, поскольку боль и есть то, что сообщает чувство реальности. Мы испытываем боль, но этого мало; мы понимаем, что нам больно, но этого недостаточно; понять боль – может быть, к этому стоит стремиться? Возможно ли сделать боль опытом, а опыт – болью? Возможен ли *опыт опыта*? Будет ли это собственно *философский* опыт? Как избежать и ослепления близости, и подслеповатости незаинтересованного суждения? Короче: возможно ли наивное сознание негативного?

Как заявляет о себе Ничто в истории? Прежде всего – в непосредственном движении отрицания. Мы отрицаем нечто; мы отказываем ему в праве быть – быть тем, чем оно является, или даже вовсе быть. Мы еще не знаем, в чем тут дело – в нас самих или в этом нечто. Но, так или иначе, что бы мы в конце концов не определили как позитивное, а что – в качестве негативного, отрицание налицо. Важно вот что: мы не просто отрицаем нечто само по себе –

ведь оно может оказаться сколь угодно широким и неопределенным, даже всем. Когда мы отрицаем, мы находимся в движении, которое первоначально не есть движение отрицания. Мы отрицаем связь, отношение – не предметы. Отрицание в этом смысле неотделимо от движения времени, понятого как причинно-следственная связь: «должно быть так», «этого не должно было произойти». Как смеем мы судить о том, чего не должно быть в будущем, что не должно было случиться в прошлом, что не имеет права существовать в настоящем? Но ведь речь идет не о времени как о чередности моментов, сплошь отрицающих друг друга, – потоке, противстоять которому нет ни возможности, ни смысла; речь о действительном движении духа, о познании. «Знать» здесь означает: понимать нечто как происходящее, как событие, знать, что будет, что произойдет. Мы действуем, руководствуясь некими представлениями о том, что следует предпринять, чтобы добиться определенных результатов; мы наблюдаем, следуя некоей интуиции и ожидая подтвердить или опровергнуть ее.

Познавая историю – как нечто относящееся или не относящееся к нам напрямую – мы основываемся на интуициях, которые составляют предпосылки нашего мышления; и в качестве таковых они историчны в той же мере, что и «факты», составляющие историю. Действуем мы или созерцаем, постигаем ли ход вещей стремясь к выгоде или бескорыстно, что бы это последнее не означало в действительности, – мы все равно руководствуемся некоей позитивной идеей необходимости, хотя, конечно же, имеет значение, в каком приложении, – объективном или субъективном. *Платон* утверждал, что над всеми Идеями доминирует одна – идея Блага; и в этом смысле все мы, включая *Ницше*, – платоники. Но идея Блага полностью исторична – точнее, она сосредоточивает в себе и выявляет историчность идей как таковых – и идеальность истории. Идеи – это свет истории, пролившийся на сущее, открывающий пропасть утраты – и горизонт надежды. Познавая историю, мы обращаемся к тому, что есть, как оно должно быть, и должно ли было оно стать тем, чем стало. Мы стремимся обнаружить необходимость, потому что стремимся к уверенности.

Но и самое глубокое и полное познание не спасает от неуверенности, неопределенности результата; и, оговоримся сразу, никакое познание не способно на это, – одна только *сила*. Отличие сильного от слабого состоит в том, что сильный принимает во внимание проблематичность своих действий в той мере, в какой они обращены вовне и опираются на внешнее, но действует, исходя единственно из того, насколько они обеспечены с его стороны – то есть, с их *собственной* стороны, разделяя возможное и действительное и четко отводя каждому его место; он уверен в себе, хотя и ни в чем более, в то время как слабый уверен в чем угодно, кроме себя.

Возвращаясь к истории, отметим, что говоря – или думая – «так должно быть», мы не скажем «так оно и есть», или «так и было», или «так и будет»; для этого нужно достоверное знание – или особая уверенность, сродни интуиции или озарению, которая либо полностью ошибочна, либо полностью верна, но в любом случае выходит за пределы нашей компетенции. Мы уверены в том, что так должно бы быть, потому что это правильно, хорошо или целесообразно, но вовсе не уверены, что так и будет; и если это знание идет не от опыта, то это редчайшая интуиция в том же роде, что и упомянутая выше, только имеющая своим предметом негативное. Но такая интуиция абстрактна – она говорит только, что может и не быть так, как мы думаем, и все же – не обязательно, что будет именно так. Схваченное в познающем представлении, негативное всегда



абстрактно, а позитивное – конкретно. И хотя на «должно бы быть так» часто – или даже как правило – слышится ответ «не всегда» (или даже – «никогда»), а «обычно» и «всегда» присвоило себе Иное, что-то удерживает нас от того, чтобы «просто» перевернуть понятия и сказать, что так, как обычно *бывает* – и *должно* быть<sup>1</sup>. Этого, несмотря ни на что, мы признать не можем; это мы отрицаем. И пускай отрицание наше само целиком негативно, потому что не способно вернуть нам уверенность в *должно*, отобранную опытом, и означает лишь крушение духа, над которым – пускай и не добившись от него освящения *должно*, – утверждает свою власть действительность, все же ему в пространстве духа отводится особое, если угодно, «большое», место, – это место, где он потерпел поражение и бежал от самого себя; но это и место, вернувшись в которое, он однажды, возможно, одержит победу.

Но зачем ему возвращаться? И какая сила может принудить его к возвращению? Разве мы еще не убедились в том, что возвращение невозможно, что раз упущенная возможность никогда более не вернется к нам и то, что иногда называют «культурным выбором», носит труднообъяснимый с позиции как свободной, так и несвободной воли характер неотменимости? Везде, где мы испытываем это давящее чувство необратимости, которая как клеймо отмечает и отличает эпохи, мы сталкиваемся с чистым эффектом негативного в истории. Это чувство сродни глубокой печали, которая почти что уже никак не проявляется внешне, – как будто душа застывает на миг и склоняется над безымянной могилой, погребенное в которой, само существо памяти вдруг обретает на миг призрачное полусуществование и заходится в неслышном плаче, исполняя душу холодом своего последнего ненужного сокрушения. Ненужного – потому что разве способно оно что-либо изменить? Да и зачем бы этой чужой, растерянной печали навещать нас? Для чего нужны все эти призраки и томящие душу чувства, какие дороги прокладывает их бесцельное блуждание, о чем они напоминают, что возвещают, в какой путь зовут, – вот вопрос, на который схематизм – идеалистический, позитивистский, феноменологический ли – пока что не дал толкового ответа, хотя в начале своем был, пожалуй, ближе к ответу, чем в конце, – но так, как правило, и происходит; а между тем, может ли какая философия считаться успешной – и сама верить в свой успех – если она не способна ответить на этот простой, но превосходящий все прочие в своем значении для человеческой жизни вопрос: *зачем нужно ненужное? в чем смысл бессмыслицы? почему существует то, чего не должно быть?*

Именно интуицию бесконечности между любыми произвольно взятыми *A* и *B* Бергсон помещает в основание религиозного чувства и, расширительно, метафизики как таковой; в этом он следует Канту – что еще, как не бесконечность неопределенных представлений, вызвал тот на суд разума, обернувшийся в конце концов судом *над* разумом, на котором последний единодушно был признан плохим отгадчиком своих собственных загадок, – точнее, своей собственностью он объявил их вначале, когда еще не знал, чем

<sup>1</sup> «Что живы многие и что тех немногих уже нет в живых, это – только грубая истина, т. е. непоправимая глупость, неуклюжее “так уж заведено”, противопоставленное моральному “этого не должно было быть” (...) О какой добродетели мы бы не говорили – о справедливости, о великодушии, о храбрости, о мудрости и сострадании человека, – везде он добродетелен потому, что он восстает против этой слепой силы фактов, против тирании действительного и подчиняется при этом законам, которые не тождественны с законами исторических приливов и отливов» (О пользе и вреде истории для жизни, стр. 211-212).

обернется его предприятие, после же он с легким сердцем вернул их Богу (в комплекте с антиномиями по умолчанию) и, пожав плечами, заявил, что имеющихся в его распоряжении (то есть, данных ему тем же Богом) средств для их разрешения недостаточно и что это вообще не его дело.

Суд разума! Стоило, спрашивается, вызывать на этот суд из неведомых далей весь сонм метафизических интуиций, чтобы в конце концов взять да и отправить их обратно, напутствовав разочарованным: «возвращайтесь-ка вы, братцы, откуда пришли, каши с вами не сварить». Но все же кантовское растерянное пожатие плеч – «ведь это же черт знает что такое» – не столь уж беспомощно-недальновидно; настанет время, и прорвавшая последние заплоты иррациональность захлестнет с головой, а земные представители космических нелепиц будут вербовать себе в адепты уже не одиноких искателей острых ощущений за гранью реальности, а сословия, поколения и нации. Пока же, вооружившись шопенгауэровскими пронизательностью и сарказмом, исконно кантовская недоверчивость отмечает, что, как правило, метафизическая способность не соответствует метафизической потребности. Впрочем, это справедливо не только для «метафизик»; мы часто недовольны результатами собственных действий, нам кажется, что они обещали больше, чем дали. Чувство, что движение от возможности к действительности, от замысла к воплощению, означает неизбежное умаление сущего, по мере того как оно остывает от жара печи, в которой выплавилось, а ее огонь и свет более не роняют на него трепещущие зоревые отблески вечнотворения, – вот метафизика, что старше любой «метафизики». Мы зачастую снисходительно относимся к результатам творчества, но трепещем перед самим творчеством, творчеством как таковым, окружая его неуклюжими, но оттого еще более трогательными заботой и почитанием. Так поступает простой человек, разглядевший в своем ребенке талант и отдавший всего себя на служение ему; так поступает философ – скажем, *Ницше*: нечто только как сущее для него – почти ничто, но как предмет желания, утверждения, цель и образ созидающей воли, который она ставит перед собой, – словом, как *ценность*, – сама Жизнь, Божественное; отсюда присущая его высказываниям двойственность иронии и пафоса. Опасность, подстерегающая здесь философа – исполниться презрения ко всему законченному, сделанному, существующему как к пустому, грубому, нелепому, несовершенному, *ненужному*; призрак он предпочтет плоти и крови – и проживет свою жизнь в ослеплении, в *ненависти* к реальному, созерцая фантомы, непорочные и недостижимые, в неугасающем пламени возможностей. Действительное существование вещей представится ему вынужденностью, унижением их изначально простой и прекрасной природы, и наилучшим для них он сочтет как можно быстрее прекратить быть.

«Зачем» – этот центральный метафизический вопрос, звучащий и перед лицом Сократа, побуждающий диалектику осознать свои пределы в *платоническом* сомнении – кульминации доступного античному мышлению *dubito*, задает еще Эдип – какой прок от мудрости, если она не приносит пользы познавшему ее? И от него, кто познал темную сторону судьбы, мы принимаем это не как насмешку над «бесплодным мудрствованием», до которой охочи оптимисты всех времен, но как драгоценный и горький дар – с благоговейным трепетом.

Эта болезнь познания, которая вместе с тем составляет отличительную его черту и есть сокровеннейший нерв всякого созерцания и мышления, – не

держится ли она в глубокой тайне, подобно всему болезненному, ненормальному, потенциально опасному? Разве не стыдится ее познание, разве не есть она его скрытая вина? И страх? И – судьба? «Все должно иметь свой смысл; все может быть познано, объяснено, обосновано» – так говорит разум, а через него – дух; но то, что романтикам представлялось профессорской заносчивостью, божьим людям – греховной гордыней, а универсалистам – естественным призванием, нам видится героически-безнадежным сопротивлением Ничто – борьбой, которая, до поры не ведая себя, начинается с наивного утверждения смысла; и, подобно тому, как в детских играх заключен образ будущих войн, первое движение познания уже отбрасывает трагическую тень и в нем предпослано неизбежное грядущее его крушение. В самом деле – искали бы мы смысл, если бы он просто был? если бы его в то же время каким-то образом не *не было*? Вечно настоящее усыпляет наш роковой инстинкт познания; лишь перед лицом открывшейся ночи небытия, в которую безвозвратно уходят сущие, он пробуждается и бодрствует, пускай и не ведает, что за холодное дуновение пробудило его от бестревожной дремы посреди вечно настоящего и вызвало к бодрствованию. Этот гул глубин, смещение границ, это возвращение прошедшего, утраченного, несбывшегося, невозможного от небытия, тревожит и приводит в движение само небытие, – и мертвящей тенью вслед за призраками оно врывается в бытие. Так начинается история – так начинается она для духа и открывается духу.

Начинается ли с этого его *собственная* история? В этом смысле выражение «историческое познание» будет ни чем иным, как тавтологией; познание по сути своей исторично, поскольку начало его отмечено откровением времени как верховного принципа реальности – но это точно такая же тавтология: «для-себя» времени и есть реальность. Однако она определяется через негативное, которое принципиально не может составить тавтологию, поскольку представляет из себя энергию растожествления; это не-тавтология, продуцирующая все действительные тавтологии, бессмыслица, задающая контуры всякого смысла, ничто в основании реальности. И одновременно это *судьба* духа – то, что с ним однажды уже случилось и с чем ему предстоит встретиться вновь; то, что указывает на бытие как на отсутствие *и* основание истории, делая это парадоксальное отсутствие возможным и пребывающим у начала истории и при ней в каждый ее момент. Негативное – это и бытие, и небытие: нетематизируемость всякого конкретного бытия (существования) и неотвратимость небытия, стирающего все определения и различия; пункт их предельного сближения, когда они почти что тождественны, почти что неразличимы, мы называем *природой*. Негативное – это и небытие всякого понятия (сущности), осуществляемое через отрицание и выражающееся в его (понятия) проблематичности; но упорство, с которым понятие сохраняется на уровне идеи или интуиции, противостоит напору отрицания и избегает исчезновения, *уже* не принадлежит негативному. Негативное – это *упорство*, противодействие, энергия заблуждения и сила лжи; однако и дух упорствует и отказывается принять небытие – участь, уготованную ему отрицанием; возможно ли, чтобы дух заимствовал, присвоил, научился использовать эту силу отрицания и обратил ее на нее саму? что она могла перейти к нему – скорее в результате некоего диффузного обмена, нежели волевого акта или хитрости? И если «да», то какого рода опыт фиксирует этот обмен и будет ли он позитивным?

Нас не должно смущать наличие «понятия» негативного, вообще негативное как понятие. Оно не входит в дух, как прочие составляющие его понятия, хотя может в известном смысле быть познано и представлено. Дух различается в себе, но это не несет еще негативности; и хотя негативное легче всего представить через различие и мыслить посредством различия, негативное и различие не совпадают. То, что само негативное может быть отлечено, т. е., осознано и понято, исполнено величайшей силы, на которую только способен дух, и несет на себе печать позитивности, как знак того, что он на верном пути к своей подлинной истине. Лишь разгадав тайну негативного, он может приблизиться к ней; но то, что познавая негативное, он познает и себя, не означает, что они – одно и то же, и что негативное – его главный атрибут, к которому он сводится целиком и без остатка. Тайна негативности в том, что, не будучи *духом*, она есть в то же время его *судьба*; выражением этого является *история*. Историческое и не-историческое (метафизическое) реальны и мыслимы лишь в той мере, в какой они взаимоопределяют друг друга.

Тем не менее, если уж мы вообще заговорили о различии применительно к духу и негативному, то нам следует сформулировать его так: в негативном нечто *отрицается* – в духе нечто *отрицает*. Негативное заставляет нечто отрицать самое себя; дух же отрицает нечто, поскольку оно отрицается в себе самом. Таким образом, как отрицающее (субъективное) и как отрицаемое (объективное) дух опосредован негативным и даже более того – есть само это опосредование. В той мере, в какой отрицание объективировано, оно относится к духу и представляет самоотрицание, или чистое действие негативности; субъективно же оно представляет *силу*, определяющую негативность как таковую (в понятии), а потому нейтральную и принадлежащую уже и духу, и негативному. Поэтому понятие «бессмыслица» мы употребляем, по иронии, в строго определенном смысле: не как формальный логический парадокс, который является производным чистой негативности, но как противоречие, состоящее в различающей соотнесенности бытия и небытия, т. е. как силу, опредмечивающую действительность и проводящую границы познания.

Взаимопринадлежность «необходимого» и «случайного» – того, что нами таким образом определено, – вот, на наш взгляд, дело, достойное мысли, если только она не желает довольствоваться химерой или фетишем. И там, где эта взаимопринадлежность наиболее проблематична, где она – менее всего «теоретический вопрос», где разрыв между духом и духом оборачивается ненавистью и войной, забвением и опустошением, короче, – там, где рождается *история*, где она – жизнь, движение, необратимость и единственная судьба, которая уготована духу, – там мысль, достигает ли она поставленных перед собой целей или пропадает в безуспешности и отчаянии, скорее всего у себя дома, пусть даже дом этот рухнет и дает ей приют лишь на одно милосердное мгновение.